

Литературно-критический фельетонъ.

Новый рассказ г. Чехова.

I.

Новый рассказ г. Чехова — новая неудача: те же достоинства, которыми этот писатель обратил на себя внимание лет семь-восемь назад, но и те же недостатки, которые тогда же были замечены и остаются в полной силе и до настоящего времени. Первый и самый главный недостаток — это, без сомнения, отсутствие какого-либо центра в его произведениях, которые, вследствие этого, в большинстве случаев представляют собою нечто туманное, расплывчатое и, конечно, не производят серьезного впечатления. За весьма ничтожными исключениями, всё его, так называемая, крупная вещь дает странную мозаику случайных сцен, случайных положений, случайных лиц, среди которых есть и даже нередко очень много интересных; но в общем всё это ничего не выражает, как не выражает ничего случайно схваченный отрывок какой-нибудь мелодии без начала и без конца. Сколько лет уже прошло с тех пор, как г. Чехов выбился из ряда литературных ремесленников, пишущих, так сказать, из-под грозной ферылы нужды и лишений, и из разряда газетных поставщиков перешел в привилегированное сословие „начинающих талантов“, которых издатели ищут и которых вездѣ печатают охотно. Времени прошло немало, притом г. Чехов пишет все это время далеко немногое: один-два рассказа в год, редко больше; значить, иметь полную возможность вынашивать свои литературные замыслы — условие в наше время необыкновенно благоприятное. А между тем, ему все не удается написать чтонибудь цельное: все та же мозаичность, расплывчатость произведений, в которых читатель не находит ничего, на чем можно бы и следовало бы сосредоточиться. Отчего это происходит? Отчего, при несомненном даровании, при отличном

умѣнии сжато, красиво и ярко выразить все, что выразить хочется, этот странный писатель за столько времени не дал ничего, решительно ничего серьезного?

Едва ли ошибусь, если скажу, что вся беда в том, что у самого писателя только и есть, что ряд более или менее интересных наблюдений — наблюдений, которые для него самого не ясны, не достаточно осмыслились, не вылились у него в виде самостоятельных мыслей. Сам писатель не разобрался в хаосе этих наблюдений, которые сырою массой накопились у него за много лет. Поэтому он время от времени берет из этой массы, сколько ему требуется для двух-трех или сколько-там листов, и представляет этот материал в необработанном виде своим читателям, которые должны сами разбираться, как знают. От этого, между прочим, происходит и та объективность г. Чехова, о которой нередко говорят в похвалу ему. Действительно, у него никогда не разберешь, к чему клонятся его собственные симпатии или антипатии. Но разве в этом состоит объективность? Это вовсе не объективность, или вернее, высокая справедливость судьи, который воздает каждому по заслугам: это только равнодушие человека, которому на все смотреть тошно, который только и знает, что „моя хата с краю — я ничего не знаю“. После каждого произведения г. Чехова, когда раздумаешься о прочитанном, о смысле этих явлений, которые изображены автором и о его собственном отношении к этим явлениям — мне всегда кажется, что сам г. Чехов меньше всех интересуется смыслом всего им изображенного, что у него самого никакого вовсе отношения к этому изображению нет, что он ко всему этому не только равнодушен, но еще как бы иронически усмехается над тем, кто не желает оставаться равнодушным: охота, дескать, думать, голову ломать... к чему?

Приложите эту точку зрения к большинству его, так называемых, крупных работ и вы согласитесь, что я едва-ли ошибаюсь. Новый рассказ г. Чехова — „Три года“, помещенный в „Русской Мысли“ (январь — февраль) в

особенности подтверждает высказанное выше.

II.

Герою рассказа является лицо, давно уже излюбленное г. Чеховым—по крайней мере, разновидности этого самого типа встречаются во многих произведениях этого писателя: „Дуэль“, „Рассказ неизвестного“, „Палата № 6“, не говоря о многих мелких рассказах. В последнем рассказе этого героя одно из действующих лиц, его хорошо знающее, так характеризует: —„Онъ (т. е. герой рассказа)—не рубаха, а старая тряпка изъ бабьей юбки. Алеша умный, Алеша добрый, но... чтобы узнать, что онъ умный, добрый и интересный, нужно съ нимъ три пуда соли съесть... Его не узнаешь, пока онъ не раскачается. Это такая рохля! Денегъ онъ вамъ отвалитъ сколько угодно, это онъ можетъ, но гдѣ можно употребить характеръ и дать отпоръ наглецу и нахалу, тамъ онъ конфузится и падаетъ духомъ. Такие люди... прекрасные люди. Но для борьбы они совершенно негодны. И такихъ много-съ, и благодаря этому въ нашемъ обществѣ, рядомъ съ широкимъ развитіемъ гуманныхъ идей, рядомъ съ быстрымъ движеніемъ впередъ, вы встречаете татарщину и всякія безобразія...“

На этотъ разъ въ образѣ „старой тряпки изъ бабьей юбки“ является одинъ изъ двухъ сыновей богатаго московскаго коммерсанта Лаптева. Лицо, можетъ быть, и интересное. Оторванный отъ своей купеческой среды сначала гимназій, а потомъ университетомъ, онъ къ „своимъ“ почувствовалъ не то жалость, не то презрѣніе; но съ другой стороны, онъ не присталъ и къ „чужимъ“ и, если можно такъ выразиться, повисъ между небомъ и землей. Во всемъ, что онъ ни дѣлаетъ и что ни говоритъ, очевидно, прежде всего, что онъ не чувствуетъ никакой почвы подъ ногами. Онъ не живетъ и не дѣйствуетъ, а какъ-то болтается въ жизни. Въ рассказѣ показаны нѣкоторые отрывочныя сцены изъ жизни этого страннаго чело-вѣка-тряпки за послѣднихъ три года послѣ его женитьбы. Многія изъ этихъ сценъ написаны очень талантливо, но

все, что ни описано здѣсь, имѣетъ какъ-то случайный и эпизодическій характеръ.

Вотъ этотъ Лаптевъ (Алексѣй Федоровичъ), прѣхавъ къ больной сестрѣ въ провинцію, встрѣчается съ дѣвушкой, въ которую сразу влюбляется. Онъ долго мучается молча, такъ что никто и не подозреваетъ его влюбленности и вдругъ—огорачиваетъ дѣвушку предложеніемъ руки и сердца, столкнувшись съ нею въ снѣгахъ. Получивъ отказъ, онъ въ отчаяніи и считаетъ свою жизнь совершенно оконченною. Но дѣвушка, которую онъ любитъ, съ перваго раза рѣшительно отказавшая ему, впоследствии начинаетъ раскрываться въ своей поспѣшности. Дома—она дочь стараго провинціального врача—ей не очень сладко живется: отца почти никогда нѣтъ, да и характеръ у него тяжелый; живетъ онъ только что не бѣдно, а какая ей готовится будущность въ глуши! Предложеніе же Лаптева открываетъ ей свѣтлыя горизонты: много денегъ, жизнь въ Москвѣ: правда, она деньгами соблазняется не ради себя, а ради того, что можно много добра съ ними дѣлать. Такъ или иначе, она рѣшается выйти за Лаптева. А онъ—„тряпка изъ бабьей юбки“—это новое рѣшеніе принимаетъ съ благодарностью и женится, увѣренный, что дѣвушка его не любитъ, а только выходитъ замужъ ради богатства его.

Начинается совмѣстная жизнь. Авторъ описываетъ цѣлый рядъ сценъ между мужемъ и женой, изъ которыхъ рѣшительно никакого представленія объ этой странной совмѣстной жизни составить себѣ нельзя. Не то Лаптевъ любитъ жену свою и страстно жаждетъ, чтобы она его полюбила, жаждетъ просто, ласкъ ей; не то онъ ненавидитъ ее, зная, что она его ненавидитъ. Съ ней происходитъ то же самое: не то она его совершенно не любитъ, страдаетъ отъ этого, мучается сознаниемъ своей вины передъ ненавистнымъ мужемъ и тутъ же подъ рукою позволяетъ себя цѣловать мужчине, съ которымъ случайно сталкивается въ вагонѣ; не то готова полюбить мужа самымъ серьезнымъ образомъ.

Къ концу описываемаго трехлѣтія дѣло неожиданно принимаетъ совсѣмъ новый оборотъ: жена вдругъ объявляетъ Лап-

теву, что она его любит, что без него она даже на даче ужасно скучает, что необыкновенно счастлива, когда его видит—словом, форменное объяснение в любви; кажется, тут бы ему быть, что называется на седьмом небе—ничуть не бывало: он смотрит на нее с таким равнодушием, как будто уже женат десять лет и даже, замечая, что приятель смотреть на жену его восхищенно, равнодушно думает: а что если он влюбится в жену мою? И тут же хладнокровно решает: подождем—увидим. На этом и вся история трехлетней семейной жизни кончается. Читаешь-читаешь все эти сцены, и, знаете ли, невольно сомнение закрадывается: что это такое? шутит г. Чехов? Может быть, бедлам какой то описывает? Неужели же в серьез принимает все, что продвигает эта его удивительная чета?

Но г. Чехов молчалив и от него ни за что не добьешься, в чем смысл всего того, что он так подробно и так местами мастерски рассказывает...

III.

Все, рассказанное об отношениях Лаптева с женой, представляет только остов рассказа г. Чехова. Но он довольно велик, этот рассказ—он растянулся на целых шесть печатных листов. И нельзя сказать, что бы тут была какая-нибудь болтовня, какие-нибудь совсем не идущие к делу разговоры, какими наши нынешние беллетристы усыпают свои произведения. Но попробуйте рассказать, что же именно занимает шесть печатных листов и это окажется делом далеко не легким.

Чего тут только нет? Хотите интересных лиц? Найдете здесь не мало. Прежде всего, семья Лаптевых. Старик-отец и два сына, из которых один—Алексей, как мы видели, „старая тряпка из бабьей юбки“, а другой, то же с университетским образованием, неизвестно по какой причине сходит с ума, предварительно написав статью о „русской душе“, которой предстает спасти Европу от гибели. Кстати же есть тут два оригинальных лица, хотя совсем эпизодических, но великодушно, обрисованных с неподражаемым юмором; это—два старших при-

казчика Лаптевых. С другой стороны, идет ряд знакомых Лаптева в Москве: студенты, только-что окончившие курсы, и вообще разные, молодые люди различных свободных профессий; и тут очень много разсыпано интересных черт, много интересных наблюдений. Наконец, совсем попутно затронута одним краешком провинциальная жизнь, и опять несколько лиц встанут перед вами как живые. Но когда вы захотите собрать все эти лица, чтобы составить себе какое-нибудь понятие о том, для чего автору понадобились они, к чему он потрусовал их, зачѣм трудился рисовать их нам, ничего из этого не выйдет. Это какой то калейдоскоп, это—случайное собрание различных стеклышек, которыми можете перемишивать совершенно по своему желанию, и рисунок от этого ничуть не пострадает. Выкиньте из рассказа одно, два, три лица—выкиньте целые эпизоды, сожмите эти пятьдесят страниц в двадцать пять, в десять, в пять—стало можно сказать, что ничего не изменился в целостности рассказа. Вместо слова „конец“ напишите „продолжение следует“, и можно продолжать, сколько угодно, можно вводить новые и новые лица, можно теперешние лица заменять другими. Словом, можно делать с этим рассказом тоже, что делают с калейдоскопом. И все потому, что здесь никакого рассказа вовсе нет. Есть случайные лица с случайными разговорами и поставлены они в случайные комбинации.

И знаете-ли? Чем больше здесь лиц и чем лучше и ярче они описаны, тем досаднее делается на автора, тем строже хочется судить его. Какой-нибудь Богом убитый г. Мачетт уписывает бумагу всяким словосложением, не имеющим ни склада, ни лада—ну, что с него возьмешь? Или там г. Потапенко возьмет вдруг и среди дня опомнит какое-нибудь явление жизни, к которому следовало бы прикоснуться нежно и с материнскою предусмотрительностью—так вѣдь на то он г. Потапенко, прирожденный носитель уличных новин, уличных мыслей и уличных чувств. Вообще, когда встрѣчаешь в литературе того или другого... декадента, что-ли, посто-

тришь на него со всех сторон: полная и безнадежная бездарность—ну, что с таким разговаривать! только и сказать остается: пошел вон, да так! С г. Чеховым совсем другое дело; тут талант бесспорный, а между тем—какая жалкая безплодность!

В рассказе г. Чехова, между прочим, есть любопытный разговор о задачах поэзии, и вот что автор вставляет в уста одного из своих лиц. „Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными, то оставьте ее и обратитесь к сочинениям по технике, полнейшему и финансовому праву, читайте передовые статьи и научные фельетоны. Вы хотите, чтобы поэзия долѣла дни и специализировалась, но для чего вам это нужно, если в вашем распоряжении такая масса специальных сочинений? К чему это нужно, чтобы в „Ромео и Джульетта“ вместо любви и жаворонка, шла рѣчь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?“... Я далека от мысли, чтобы это неостроумное рассуждение принадлежало самому г. Чехову, но во всяком случае оно может быть к тому, кому бы оно ни принадлежало. Половина этого рассуждения, конечно, совершенно верна, а именно—не дело поэзии толковать о дезинфекции тюрем и тому подобным канцелярским вопросам; но другая половина того же рассуждения нигде не годится: в „Ромео и Джульетта“ вовсе не только „любовь и жаворонки“, и если бы дело этих ограничивалось да еще в том обиходном смысле слова, как рассуждают в рассказе г. Чехова, тогда это не было бы трагедией Шекспира, а каким-нибудь сентиментальным произведением писателя Маниловской школы. Трагедия Шекспира оттого пережила века, что воплотила величайшие и глубочайшие художественные мысли, какие когда-либо знало человечество. Вот что важно, вот что надо твердо помнить. И отсутствие художественной мысли осуждает всякого писателя, даже и талантливого, на совершенное безплодие.

М. Южный.

< М. Г. Землянов >